

"Плотность огня нужна в литературе"

ЛЕТОМ 1946 года Ленинградское отделение ВТО совместно с Союзом писателей решило провести региональную конференцию, посвященную основным проблемам современной советской драматургии. К участию в конференции привлекались драматурги, режиссеры, театральные критики Ленинграда и Москвы. В числе приглашенных значилась и фамилия М.М. Зощенко.

За сессиями, проходившими в старом здании Дома кино на Невском проспекте, где теперь кинотеатр "Кристалл-Палас". В президиуме, на просцениуме, сидела когорта именитых театральных критиков: Юзовский, Гурвич, Альтман, Бояджиев, Малюгин.

Слева от президиума - официальная кафедра. К ней и направился тихим, осторожным шагом Михаил Михайлович. Мне показалось, что он чувствует себя на ней неуютно. Сойдя с кафедральной подставки, продолжал речь, вернее, беседу, стоя рядом. Говорил тихо, как-то застенчиво, словно опасаясь утруждать собрание своей особой. Он ни разу не засмеялся, даже не улыбнулся, хотя иной раз оперировал гримасами тогдашней вполне анекдотической цензурной практики.

Впрочем, насколько помнится, слово "цензура" Зощенко ни разу не произнес. Да это и неудивительно. Цензуры у нас вроде бы и не было вовсе. А слова "горлит", "главлит" не сыскать ни в одном из тогдашних толковых словарей или энциклопедий. Зощенко предпочитал эвфемизм - редактор. Это якобы он, редактор, внушал писателю:

- Слушайте, там у вас на сцене санаторий - какой же это санаторий, пусть самый скромный, если в нем всего-навсего три человека? Это медвежий уголок, а не санаторий. Зачем вы так сделали? Зачем такой маленький домик взяли?

Что оставалось писателю? Не иначе как пытаться объяснить блюстителю правды жизни эстетические взаимоотношения искусства и действительности:

- А может быть, у меня таких четыре десятка домиков? А как же их уместить на одной сцене? У искусства есть освященная веками особенность: оно ограничивает. И я вполне сознательно ограничил множеством единством. Мало ли что есть еще в санатории: и бухгалтерия есть, и медпункт есть, и, извините, опять же без уборной не обойтись...

Потом Зощенко рассказал не менее анекдотическую историю. Вот, скажем, задумал человек написать рассказ о злоключениях - грустных, нелепых, смешных - консерваторских музыкантов, которых решили вывезти из блокадного города через Ладогу. Пароход с "лабухами" то ли угодил под немецкую бомбу, то ли наскочил на свою собственную, родную мину, словом, ушел под воду. Мужественные "лабухи", очутившись в воде, не растались со своими инструментами, уцепились за рояль, как за спасательный плот...

Сперва редактор-цензор предложил изменить пароход хотя бы на шхуну; гибель большого судна - ущерб народному достоинию.

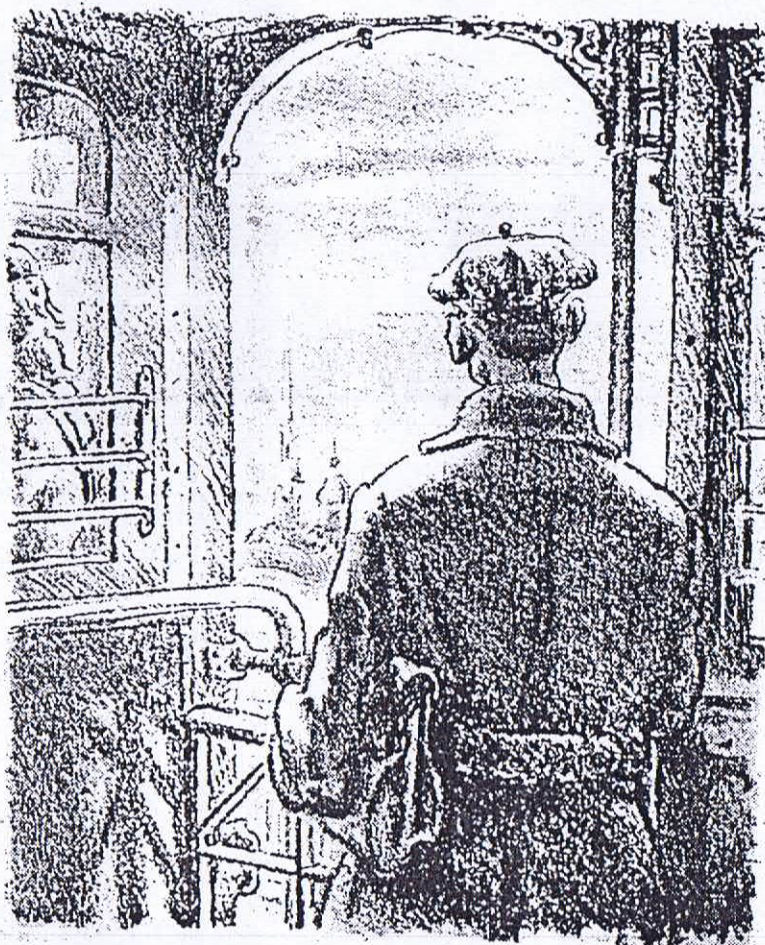
Пьесы Зощенко тоже попали под "приговор"

Это, дескать, будет настраивать читателя на пессимистический, непатриотический лад. Дальше - больше. В новой редакции шхуна превратилась в яхту. Потом яхта - в баркас. Баркас - в катер. Катер - в лодку... Наконец автор взмолился:

- Как уместить целое музыкальное учреждение, да еще с роялем, в лодке?

- Не беда. Можно ограничиться одним "лабухом" с баяном или со скрипкой...

Должен сознаться, я не уверен, точно ли так излагал Зощенко перипетии цензурно-анекдотического сюжета. Память - на полувекковой дистанции - может и подвести... Зато дальнейшие рассуждения Зощенко о принципах своей драматургической техники привожу дословно: запись была согласована с писателем.



Перед Зощенко речь держала Р.Д. Мессер, критикесса не слишком даровитая, шаблонно мыслящая и, насколько помнится, никогда не плывшая против течения. Мессер упрекала Зощенко за "измельченно-сатирическую линию, направленную в адрес мещанства". Писатель, мол, откапывает своих героев среди мелкого жулья, обывателей, мужей, обманывающих и собственных жен, и любовниц.

Выступление Мессер вынудило Зощенко дать ей, говоря словами шолоховского деда Щукаря, "отлуп":

- Я не считаю себя мастером драматургии и не пытаюсь создать нового "Ревизора". Это не в моих силах, да и историческая ситуация другая, иная ситуация и в литературе. Я и не стремился к сатирическому изображению еще, быть может, и потому, что я не считаю сатиру высшей ступенью литературы. Во всяком случае у меня была задача иная - написать легкую комедию, в которой была потребность у общества и которую я ощущал как художник.

Задача оказалась необычайно трудной, потому что в русской драматургии не было традиции той легкой комедии, которую

знают французы и другие народы. Мы же знаем горькие комедии Сухово-Кобылина, Чехова... Я пробовал внести некоторые элементы водевиля, но так, чтобы они не раздирали ткань реалистической комедии.

И все-таки комедия "Парусиновый портфель" была поставлена на сцене, публика ее приняла хорошо. Реакция зрителей убедила меня, что я все же был на верном пути, что скрещение жанров дает какую-то гармонию.

Какие ошибки мы бы ни совершали, я убежден, что нашему театру нужен поиск, эксперимент. Старая манера для легкой комедии устарела.

На наших глазах, на нашей памяти люди научились быстрее катиться по дорогам, летать, и с каждым годом - стремительнее. Раньше, чтобы поехать на Кавказ, человек садился в экипаж, ехал месяц, оторванный от всех, со своими мыслями. Это создавало медлительную литературу, медлительно искусство, которое характерно для прошлого столетия. На фронте в 1914 году на один метр падала одна пуля. А сейчас военные специалисты говорят, что на один метр приходится 12 - 15 пуль. Эта "плотность увеличения

огня" необходима повсюду - и в драматургии, и в литературе...

Я не боюсь воспроизводить выступление Зощенко об эстетических принципах его драматургии не в пересказе, а в форме прямой речи, ибо текст этот, как упоминалось, был согласован с писателем, одобрен им, и только приснопамятное постановление ЦК КПСС о журналах "Звезда" и "Ленинград" отправило его в небытие...

После "приговора" (так Зощенко предпочитал называть учиненную над ним расправу) писатель пытался еще неоднократно довести до печати - а еще лучше довести до сцены - несколько вновь сочиненных им, как ему казалось, стерильных, драматических опытов. Трезвее всего предназначившую ему судьбу спрогнозировал сам Зощенко: "Писатель с перепуганной душой - это уже потеря квалификации".

В самом начале 1950-х годов, сочиняя комедию "Дело о разводе", Зощенко предвидел, что ей уготована участь предыдущих. Это видно из его официального обращения к генеральному писателскому секретарю Александру Фадееву: "Всякий раз я наталкиваюсь на такие преграды, которые не позволяют думать, что работы мои могут быть напечатаны или поставлены без особого разрешения".

Поскольку сатирический талант Зощенко (впрочем, не только его) оказался невостребованным, ненужным советской действительности, писатель попытался его приспособить к критике американских буржуев. И опять - тщетно. От комедии - с разными формулировками, но в сущности по одинаковым причинам - вынуждены были отказаться ленинградский Театр комедии, московский Театр сатиры, журнал "Новый мир". Редактор Константин Симонов оправдывался тем, что американский капитализм выглядит в комедии "не страшно, а... забавно страшно, причем акцент стоит на слове "забавно".

Идя навстречу рекомендациям Симонова, Зощенко попытался придать более хищный оскал дядюшке Сэму. Когда и это не помогло, вконец раздавленный, отчаявшийся писатель обратился с письмом к Г.М. Маленкову: "Я прошу указания ЦК, как мне теперь поступить?"

Ответа, разумеется, не последовало. С драматургией Зощенко было покончено. А вскоре с помощью ряда провокационных проработок было покончено и с самим драматургом.

Семен ОСОВЦОВ

Литография
Евгения КИБРИКА